

† Профессиональное кредо

МОЯ ЖИЗНЬ В ФИЛОСОФИИ (интервью с профессором М.С. Каганом)

Уважаемые коллеги!

Мы предлагаем вам еще одно интервью с человеком, который не нуждается в представлении. Этот человек вот уже более пятидесяти лет успешно и плодотворно трудится на ниве философии и философского образования в Санкт-Петербурге. Его знают, читают и ценят многие поколения ученых во всех уголках России и других стран.

Встреча с профессором Санкт-Петербургского государственного университета Моисеем Самойловичем Каганом состоялась в стенах Института человека РАН 20 октября 2003 года. Беседу с ним провел главный редактор нашего журнала, профессор Ю.М. Резник.

На пути к философии: первые шаги

Резник Ю.М. Моисей Самойлович!

Вас все знают как выдающегося отечественного философа, культуролога, хотя Вы считаете себя еще и эстетиком. Я буду задавать вопросы, связанные с разными этапами Вашей жизни и творчества, увязывая их в единые тематические блоки. В первую очередь меня интересует Ваше профессиональное становление.

Первый вопрос. Вы филолог по образованию и могли сделать прекрасную карьеру в области литературоведения, лингвистики. Почему Вы все-таки решили трудиться на поприще философии?

Каган М.С. По-видимому, мой путь в философию был предопределен еще на третьем курсе филологического факультета. Уже в студенческие годы литература меня интересовала — не как читателя, разумеется, а как потенциального литературоведа — сфера культуры, развитие которой определяется некими закономерностями. Между тем, в то время в литературоведении господствовало фактологическое, узкобиографическое описание творчества писателя, в лучшем случае включенного в ряд собственно-литературных явлений, а внешние для него события, даже из сферы других искусств, не говоря уже о научной мысли и философии, привлекались лишь при их прямой связи с жизнью и творчеством данного писателя. Меня это не удовлетворяло, несмотря на то, что лекции читали бле-

стящие преподаватели, что анализ конкретных литературных произведений был, как правило, тонок и глубок, однако, и, восхищаясь этим анализом, я всякий раз задавался волновавшим меня более всего вопросом: «а почему?». Почему реализм? Почему романтизм? Почему одно направление сменяет другое? Ответа на все эти вопросы я не получал и стал искать их самостоятельно. Я нашел их в «Лекциях по эстетике» Гегеля, учение которого мы «не проходили», я «вышел на него», как сейчас говорят, с подачи одного старшесекурсника.

Так началось мое вхождение в философско-эстетическую проблематику. Признаюсь, что при первом прочтении Введения к гегелевским «Лекциям» я понял не больше половины и очень огорчился этим. Но я упорно их перечитывал, постепенно осваивая и непривычную терминологию, и стиль изложения, и пробивался к мощному содержанию гегелевской мысли. И тогда я понял, что это — мое. У меня сохранились студенческие записи, выписки из книг, которые я делал, часто во время лекций, которые меня не интересовали. Эти записи я обнаружил несколько лет назад, и по ним могу восстанавливать сейчас становление моего интеллекта и все более уверенный интерес к философским проблемам истории литературы и культуры в целом. Достаточно сказать, что после трех лет обучения в Университете (большое судьба мне не дала — я начал учиться сразу на втором курсе, за первый сдавая экстерном, а в конце четвертого началась война и мы все ушли в Народное ополчение), находясь на фронте под Ленинградом и в ожидании столкновения с наступающими немцами имея немало свободного времени, я написал эскиз истории мировой культуры, в котором, по методологии Гегеля и Маркса, выстроил триаду «феодализм — капитализм — социализм», и довольно подробно описал, не подумав о последствиях, которые это могло иметь для меня, если бы кто-то прочел написанное, как в нашей социалистической культуре восстанавливаются все формы культуры феодального общества, начиная с религиозного по типу общественного сознания и обожествления вождя и заканчивая иерархической структурой общества, инквизицией и множеством деталей быта...

Ю.М.: Вы хотите сказать, что у Вас уже в то время были такие диссидентские мысли?

М.С.: Нет, я не рассматривал это как диссидентство, — это был чисто научный анализ триадической структуры исторического процесса.

Ю.М.: Вы об этом говорили кому-то, или это просто зрело внутри Вас?

М.С.: По-моему, я не отдавал себе тогда отчета в опасности толкования нашей марксистско-ленинской идеологии как возрождения феодально-религиозного сознания, со всеми вытекающими отсюда последствиями, но следовал принципу Аристотеля: «Платон мне друг, но истина дороже»; все же эту тетрадь я никому не показывал. Когда мы отступали, выходя из окружения, и ползли в открытом поле под минометным обстрелом по канаве, наполненной водой, (несколько моих друзей при этом погибли), мне пришлось бросить рюкзак, в котором лежала эта тетрадь. Но когда я оказался в ленинградском госпитале, и через какое-то время смог писать, я решил, что должен вспомнить и восстановить эти записи. Пару лет тому назад в чудом сохранившемся в годы блокады моем архиве я нашел эту тетрадь. Перечиты-

вая ее, я с изумлением обнаружил множество совпадений моей последней книги «Введение в историю мировой культуры» и содержания этой юношеской историософской концепции, не говоря уже о самом способе мышления, сложившемся уже тогда... И обязан я этому знакомством с Иеремеем Исаевичем Иоффе.

Однажды мой друг Элиазар Кревер, погибший в самом начале войны, высоко одаренный юноша, только что вернувшийся из Испании, где он в числе большой группы наших студентов работал переводчиком во время гражданской войны, обнаружил на факультете только что организованную в 1939 г. кафедру истории искусства, которую возглавлял профессор Иоффе. Посетив его первые лекции, посвященные проблеме происхождения искусства, а затем прочитав его книгу «Синтетическая история искусства» (сейчас мы называем это *историей художественной культуры*), мы с Лелей Кревером стали убежденными сторонниками его методологии; после войны, вернувшись в Университет, я стал аспирантом Иеремея Исаевича, продолжив под его руководством начатое еще на последнем курсе синтетическое изучение реалистического движения во французской литературе, живописи, графике, эстетике, философии XVII в.

Ю.М.: Однако, Вы писали в своих мемуарах «О времени и о себе», что Ваша первая самостоятельная исследовательская работа в студенческие годы называлась «Философия в лирических романах Золя». Вы сами выбрали философию или, как это часто бывает, философия выбрала Вас? И второе: что Вы все-таки считаете своим настоящим призванием?

М.С.: Видимо, она выбрала меня, потому что нельзя захотеть стать философом, так же как поэтом, живописцем, музыкантом, и нельзя научиться этому, если в левом полушарии твоего мозга нет определенных, особенно развитых извилин, обеспечивающих такой специфический склад мышления и, соответственно, непреодолимую потребность в *такого рода* осмыслении бытия (показательно, что в деревне нередко встречаются малограмотные, необразованные мужики, о которых говорят, изумленно, иногда восхищенно, а иногда иронично: «Философ!»). После одного из величайших научных открытий XX в. — открытия функциональной асимметрии мозга — мы уже многое узнали о локализации способности человека абстрактно мыслить, а дальнейшее изучение топографии обоих полушарий открывает, несомненно, анатомо-физиологическую почву многих, врожденных индивиду, способностей, в их числе и способности к такому уровню обобщающего мышления, на котором рождается философское умозрение. Во всяком случае, в старших классах школы мне с трудом давались физика и химия, но легко усваивались математические дисциплины, — я даже придумал способ нахождения центра окружности без знания ее радиуса (неважно, что это оказалось изобретением велосипеда), а философский склад мышления в его классическом виде сродни, как известно, математическому. Примечателен такой эпизод моей биографии: когда я был студентом первого курса филологического факультета, я получил предложение от директора моей школы заменить во время студенческих каникул заболевшую преподавательницу математики в 8-х, 9-х и 10-х классах (11-х тогда еще не было), и я две недели весьма успешно преподавал алгебру, геометрию и тригонометрию. Эта связь философского и математического спо-

собов абстрагирования, структурно-геометрического анализа и строгости логической дедукции при развертывании мысли как доказываемой теоремы, — доказываемой не только студентам и читателям, но, прежде всего, самому себе, — объясняет столь часто используемый в моих лекциях и книгах язык схем, который делает наглядными обозначаемые ими структуры исследуемых систем.

Ю.М. Я думаю, к этому не сводится строгая логическая структура Вашего философского мышления?

М.С. Конечно, это только внешнее его проявление. Если же попытаться заглянуть в него глубже, то я решился бы назвать себя не «структуралистом», а «стихийным системологом», — не зря я смолodu влюбился в Гегеля и в учении Маркса оценил его гегельянские диалектические основы прежде, чем содержательные, социально-экономические. Во всяком случае, структурный анализ, проявившийся уже в первых моих исследованиях литературных и живописных произведений, сочетался с историческим взглядом на само искусство и на культуру, усвоенным мною и от упомянутых классиков философской мысли, и от И.И. Иоффе.

О том, как конкретно складывалось и развивалось в моих работах системное мышление (я предпочитаю употреблять вместо пошедшего от американцев термина «подход», сужающего сущность и значение данной методологии, понятие «мышление», адекватно передающее масштаб этого метода познания бытия), вбирающее в себя структурный анализ, но соединяющее его с функциональным и историческим походами, можно судить по разработывавшейся мной на протяжении полувека эстетической теории. Начало этому было положено введением в 1948 г. постановлением ЦК партии преподавания курса марксистско-ленинской эстетики в художественных вузах и на факультетах работников искусства в университетах марксизма-ленинизма, где мне было поручено его читать. Однако строить такой курс было не на чем, — не было ни одного учебника, ни одной монографии с изложением эстетики марксизма, — ведь ни основоположники этого социально-философского учения, ни никто из их учеников его не создал, и применительно к художественной культуре не шли дальше небольших статей на различные конкретные темы (сам Маркс отказался написать статью «Эстетика» для американской энциклопедии, объяснив это ее редактору тем, что не является специалистом в данной области); следовательно, приходилось самостоятельно решать сию, весьма непростую, задачу.

Ю.М. Как же Вам удалось создать такой курс?

М.С. Я начал с того, что пришел за советом к тогдашнему декану философского факультета Ленинградского университета Михаилу Васильевичу Серебрякову и попросил его совета, как строить этот курс. Седовласый профессор посмотрел на меня и сказал: «Вы смелый человек, я бы на это не решился». Но выбора у меня не было, это было партийное поручение; вместе с тем, «задел» для этого у меня был, поскольку, как Вы помните, уже с 1946 г. я читал студентам-искусствоведам курс «Теория искусства», разработанный мной на основе переработки эстетики Гегеля и его русских последователей Белинского и Чернышевского (эстетике Николая Гавриловича Чернышевского я посвятил свою первую

статью, опубликованную в 1953 г., и первую монографию, увидевшую свет в 1958 г.). В результате начала формироваться целостная теория, которую в середине 60-х годов я уже решился опубликовать.

Ю.М.: Это и были Ваши «Лекции по марксистско-ленинской эстетике»?

М.С.: Да, но я продолжал их совершенствовать еще три десятилетия: в 1971 г. вышло их второе, существенно доработанное издание, а затем их переводы, всякий раз дорабатывавшиеся мной для их «привязки», как говорят архитекторы, к местному художественному и теоретическому материалу, в Германии (четыре издания), в Болгарии (три издания), в Венгрии, в Грузии, в Китае, на Кубе, а в 1997 г. третье русское издание, названное мной «Эстетика как философская наука», поскольку, сохранив всю концептуальную основу двух первых, оно могло очиститься от всех содержавшихся в них идеологических наслоений.

Два рубежа я отметил бы на этом пути: первый — знакомство в 60-е годы с теорией систем благодаря деятельности ее отечественных пропагандистов Блауберга, Садовского, Юдина, созданному ими журналу «Системные исследования», и разработке академиком Анохиным концепции «функциональной системы»; второй — знакомство в 80-е годы с синергетикой, которую я воспринял как распространение системного подхода на изучение саморазвивающихся систем.

Дело в том, что, применяя методологию системного исследования к изучению искусства, я понял неправомочность ее сведения к структурному и функциональному подходам, ибо само бытие искусства исторично; следовательно, применительно к такому классу систем, динамика которых является не чем-то внешним для них, но их имманентным свойством, я заключил, что историческая плотность исследования должна рассматриваться как органический системному мышлению аспект исследования (обоснованию этого тезиса я посвятил специальную статью, назвав ее «О системном подходе к системному подходу»; она стала затем вводной методологической преамбулой в книге «Человеческая деятельность», поскольку предметом анализа была в ней именно исторически развивающаяся система). Естественно, что спустя два десятилетия я мог принять синергетику в свою методологическую программу, потому что это было подготовлено признанием исторического подхода аспектом системного исследования, а развитие сложных, диссипативных систем как процесс их самоорганизации и было основой синергетики. В работах Пригожина, Хакена, Курдюмова выявлялись закономерности этого процесса, — взаимоотношения «порядка» и «хаоса», нелинейный характер развития, значение бифуркаций в этом процессе и роль аттрактора в нем. Правда, все эти закономерности были выведены в ходе изучения физических процессов, и я с самого начала отчетливо сознавал, что бесплодно их простое перенесение на развитие на несколько порядков более сложных — антропо-социо-культурных — систем; поэтому предстояло найти те формы усложнения синергетической методологии познания, которые соответствовали бы уровню сложности данных процессов.

Ю.М.: И Вы считаете, что решили эту задачу?

М.С. Я сказал бы осторожно — и я, и некоторые мои коллеги, прежде всего профессор нашего факультета Владимир Павлович Бранский — находимся в про-

цессе ее решения, но главное — понимаем его необходимость и целенаправленно работаем в этом направлении.

Ю.М.: Вы могли бы более конкретно охарактеризовать саму логику Вашего движения по этому пути?

М.С. Попытаюсь. Поскольку системный подход предполагает рассмотрение познаваемого объекта как элемента, или подсистемы, некоей системы, частью целостного бытия которой этот объект является и выполняет в ней определенные функции, его познание может быть успешным лишь при условии, что оно движется от целого к данной части, от системы к ее подсистеме. В познании интересовавшей меня сферы бытия это означало: чтобы раскрыть «тайну» искусства слова, или живописи, или музыки, нужно рассматривать каждое из этих видов искусства не само по себе, не подходя к нему вплотную, а выявляя его место в охватывающей все виды искусства художественной культуре; этому я посвятил монографию «Морфология искусства» (не подозревая, какие неприятности она мне принесет). Но искусство как плод специфической художественно-творческой деятельности является одним из проявлений целостного бытия человеческой деятельности, и потому следует исходить из анализа ее многогранной целостности, чтобы определить своеобразие ее художественных проявлений; так родился замысел монографии «Человеческая деятельность» и последовавшей за ней книги «Мир общения». Однако в ходе анализа деятельности выяснилось, что она является созидательной силой культуры, в которой динамически сопрягаются сама деятельность, ее предметные плоды и формируемый осваивающий их человек; естественно, что в монографии «Человеческая деятельность» появилась глава о культуре, выросшая в дальнейшем в исследование «Философия культуры» и «Философская теория ценностей», а в 90-е годы в двухтомное «Введение в историю мировой культуры», и в оригинальное по жанру рассмотрение философско-антропологических проблем на материале истории мирового изобразительного искусства — книгу «Се человек...». Одновременно опытом целостного структурно-функционально-исторического анализа стала моя работа над историей культуры Петербурга, вылившаяся в написание книги «Град Петров в истории русской культуры», учебника «История культуры Петербурга» и исследования «Три века истории Петербурга», которое находится сейчас в печати.

Но и тут нельзя было поставить точку, потому что сама культура, как и творящий ее и творимый ею человек, как и объединяющее людей в их совместном бытии общество, являются подсистемами бытия, из чего следовало: познание сущности всех форм бытия, начиная с природы и кончая человеческой личностью, должно исходить из анализа закономерностей строения самого бытия, понимаемого синергетически как сверхсложная и усложняющаяся в процессе саморазвития и самоорганизации диссипативная система. Год тому назад в журнале «Вопросы философии» была опубликована моя статья «Метаморфозы бытия и небытия», которая разрослась в большую книгу, редакционную обработку рукописи я сейчас завершаю; по-видимому, это будет мое последнее крупное философское сочинение, ибо дальше онтологии идти уже некуда.

Такова содержательная логика моего теоретического развития, отвечающая

логике развития научного мышления в XX в., поскольку я, в отличие от многих моих коллег, использовавших обретенную в ходе демократизации нашей страны свободу мышления и быстро сменивших марксизм на постмодернизм, рационализм на религиозную мистику, связь с научным познанием бытия на беллетризованное самовыражение, сохранил верность классическому пониманию философии как рационалистической и светской формы мышления, способной раскрывать основные объективные законы бытия, а в сфере социальной философии верность Марксову пониманию практики, общественного бытия, развития материальной культуры (производительных сил) как детерминанты истории человечества, сколь бы ни была велика в этом процессе роль человеческого сознания и подсознания, ценностных ориентаций, действий отдельных личностей, субъективного фактора. Такие мировоззренческие установки предопределили мое внимательное отношение к методологическим достижениям современной научной мысли при настойчивом стремлении понять, что в них специфично для данной науки или группы наук и что имеет *общенаучное значение*, тем самым, представляя интерес для философии. Именно такая позиция позволила мне оценить по достоинству и принцип дополнительности Бора, и теорию моделирования, и ряд положений теории информации, семиотики, кибернетики, наконец, методологию системного подхода и синергетики, и, как уже говорилось, отчетливое понимание того, что в познании антропо-социо-культурных явлений и процессов необходимо усложнение методологии познания природных явлений и процессов, в соответствии с уровнем и характером сложности культуры, общества, человека и его бытия как уникальной личности.

Ю.М.: Значит ли это, Моисей Самойлович, что Вы сводите функцию философии к познанию бытия и различных его проявлений?

М.С. Ни в коем случае! Функции философии несводимы к познанию, — оно соединяется в ней с *ценностным осмыслением бытия* и с *проектированием «желанного будущего» человечества*, однако ценностное осмысление жизни может быть обоснованным и конструируемым идеал осуществимым только тогда, когда они *базируются на знании* — знании объективных законов связи бытия и небытия, которое добывает онтология, знании объективных законов бытия человека в мире, которое дает философская антропология, знании объективных законов развития общества и культуры, которые выявляют социальная философия и философия культуры. Без этого знания, сколь бы ни было оно на каждом этапе истории человечества неполным, относительным, в тех или иных элементах ошибочным, философия вырождается в другую форму духовной деятельности, — или в теологию, или в публицистику, или, наконец, в поэзию, и при всех подобных трансформациях перестает выполнять свою специфическую и лишь ей доступную функцию — быть *теоретически осознанным мировоззрением человечества*.

Через тернии: преодолевая невзгоды и трудности

Ю.М.: Я в целом понял логику развития Вашей исследовательской стратегии, она мне достаточно близка и понятна. Но нашего читателя будет интересовать не такая последовательная, строгая схема, которую Вы сейчас раскрыли, его

будут интересовать метаморфозы Вашего личного бытия. Его будет интересовать также та творческая лаборатория, в которую непосвященный человек редко входит. Особенно, как мне кажется, это будет интересно молодому читателю. Ему будет интересно то, как и почему Вы страдали от всего, что происходило с Вами и со страной, что оставило свой глубокий и неизгладимый отпечаток на вашей школьной и студенческой жизни. Каковы, по Вашему мнению, самые трудные жизненные испытания, которые выпали на Вашу долю во время Вашего становления как философа? Что же дало Вам тот запас прочности, который способствовало становлению Вашей личности?

М.С. Первым драматическим событием в моей жизни, которое не могло не сказаться на моем мировосприятии, был арест отца. Эта акция была для меня совершенно неожиданной, потому что отец был честнейшим человеком и совершенно аполитичным. Он был инженером, для которого кроме работы и семьи вообще ничего не существовало. И вдруг, накануне моего первого студенческого дня, 28 августа 1938 года отца арестовали. Это радикально изменило мою студенческую жизнь. Сознывая свою ответственность за будущее семьи, состоявшей из трех женщин — матери, младшей сестры и бабушки, как единственного «мужика в доме», я должен был как можно скорее окончить университет и начать зарабатывать. И хотя я был уверен в том, что отец не имеет никакого отношения к антисоветским действиям, но надежд на его скорое возвращение было очень мало. Поэтому я сразу пришел к декану факультета с просьбой перевести меня на второй курс, а за первый сдавать экстерном, чтобы как можно скорее закончить университет. Декан разрешил, хотя это противоречило всем правилам, но я аргументировал свою просьбу тем, что поступил на романское отделение филологического факультета, уже зная французский язык, студенты же большую часть учебного времени на первом курсе должны были отдавать изучению языка.

К счастью, спустя четыре месяца, под Новый год, отец вернулся. Его обвиняли в том, что он был английским шпионом, а он не подписывал признания, несмотря на пытки, протоколы допросов; тут произошла смена Ежова Берией во главе НКВД, и тех, кто еще не успел признаться в своей антисоветской, вредительской, террористической или шпионской деятельности, велено было освободить, дабы создать видимость объективности правосудия. В моем случае эта цель была достигнута: воспитанный, как большинство моих сверстников, в 30-е годы на преклонении перед Сталиным и, не понимая проводимой им политики террора, но сохраняя веру в ее необходимость по каким-то высшим, но нам, простым людям неизвестным, соображениям, я говорил я матери: невинных людей не «сажают», и если отец ни в чем не был виноват, его освободят; вот его и освободили, и моя вера получила убедительное подкрепление.

Таково мое *первое* серьезное жизненное испытание. *Вторым* испытанием стала война.

С первых дней войны студенты, не полежавшие призыву в армию, были отправлены на оборонительные работы, а оттуда мы ушли в Народное ополчение, не подозревая, какой будет для нас эта война.

Ю. М.: Как Вам запомнился первый фронтовой день?

М. С.: Безоружные и необученные, без квалифицированного военного командования, мы должны были оборонять город, — нам выдали только шинели и пилотки, но никакого оружия. Мы стояли у дотов (аббревиатура от называвшиеся «долговременные огневые точки»), — бетонные копаки, в которых должны были находиться пушки или крупнокалиберные пулеметы, — но они были пустые, в них не завезли оружия. Мы охраняли аэродром, на котором стояли самолеты, но они не могли взлететь, потому что не было горючего. Когда нам, наконец, объявили, что привезли винтовки, это вызвало всеобщее ликование, мы побежали к грузовикам и начали их разгружать, но оказалось, что это были учебные винтовки с просверленными магазинами, с которыми студентов учили шагистике.

Единственное что нам доставляли регулярно из города — это «ворошиловские» сто грамм, которые полагались ежедневно на долю каждого бойца на передовой. А большинство студентов-филологов в те времена — «гнилые интеллигенты», водку не пили (я, правда, к их числу не относился). Поэтому у нас скопились большие запасы этого зелья, и когда через нас проходили отступающие из Эстонии части 8-й армии, и раненые, и даже здоровые солдаты, меняли свое оружие на водку. В результате в течение несколько дней мы хорошо вооружились, но когда на нас навалились немцы на мотоциклах, танках, поддержанные мощным минометным огнем и не встречавшими в воздухе никакого сопротивления самолетами-штурмовиками, наши архаические винтовки и гранаты оказывались практически бесполезными.

Еще до войны, сознавая, что дело идет к этому, я старался по мере возможности подготовиться к войне. Я хорошо стрелял и получил звание «Ворошиловский стрелок» и «Ворошиловский пулеметчик», даже выучился на снайпера, поэтому перед отправкой на фронт мне в военкомате выдали винтовку с оптическим прицелом. В окопе я лежал рядом с командиром взвода, у которого не было даже бинокля, и докладывал ему о том, что видел в этом прицеле. После нескольких дней боев мы оказались в окружении (немцы взяли Стрельну, Петергоф и отрезали нас от Ленинграда на «ораниенбаумском пяточке»). Там я был ранен и чуть не умер от потери крови.

Ю. М.: А как это произошло?

М. С.: Мы находились на окраине Петергофа под чудовишным артиллерийским и минометным обстрелом, в горевшем поселке, лишенные командования, отступающие разрозненными группами к морю, теряя одного товарища за другим... Было ясно, что выхода нет, что гибель неизбежна, потому что для меня, как еврея, спасением не мог быть и плен (каким он оказался для некоторых моих русских товарищей). Я мысленно прощался с родными, с родителями, особенно тяжело переживая бессмысленность предстоящей гибели, невозможность сколько-нибудь полезного действия. И в эти страшные фронтовые дни, и потом месяцы госпитального существования в Ленинграде, при ежедневном артиллерийском обстреле города и бомбардировках, была неотвязной мысль, возвращавшая к довоенному недоумению от сталинского террора: «Как при руководстве великого, гениального, всеведущего Сталина могло случиться, что мы оказались

преступно неготовыми к войне, несмотря на все уверения, что Красная Армия непобедима, что мы «будем бить врага на его территории»? Этими сомнениями нельзя было поделиться даже с друзьями, нельзя было просто вслух их выражать и самому себе отдавать отчет в том, что стало ясным впоследствии: именно он должен нести ответственность за то, что война длилась четыре года и принесла в жертву миллионы людей и полуразрушенную страну, именно он заключил преступный сговор с Питлером, именно он безрассудно верил в то, что его новый союзник не нападет на нас, и поэтому пренебрегал всеми предупреждениями наших героических разведчиков о готовящемся нападении, даже о его дне и часе, и приказывал убивать этих разведчиков как «провокаторов», именно он уничтожил перед войной командный цвет советской армии, именно он доверил в начале войны оборону страны бездарным полководцам гражданской войны, ничего не понимавшим в войне современной, а потом приписывал себе заслуги спасших страну от поражения великого полководца Г. К. Жукова... Психологическим парадоксом, — и не моим личным, а миллионов советских людей, воспитанных в религиозном духе иррационального обожествления Сталина, — является сохранение и во время, и после войны, веры в его гений, невзирая на знание всего того, что было мной сейчас перечислено (парадокс это не специфически русский, — в Германии, в Италии, в Китае, во Вьетнаме имело место нечто подобное в отношении к их вождям). Парадоксальным является и то, что в наши дни, после того, как стали общеизвестными все преступления Сталина, сотни тысяч людей под водительством партийных демагогов выходят на демонстрации с портретами этого человека, которого в действительности надо было бы судить как главного военного преступника... Тут, видимо, необъятное поле исследований для психоаналитиков, изучающих массовое сознание.

Ю. М.: Но вернемся к рассказу о Вашей судьбе, как удалось Вам выжить в той, казалось бы, безысходной ситуации?

М. С.: Это было чудом: фашистское командование решило не тратить силы на ликвидацию ораниенбаумского «пяточка», полагая, что возьмут Ленинград измором, голодом, а потом и этот ключок земли, и все силы бросило на Москву. «Пятачок» так и оставался не взятым до конца блокады Ленинграда. Раненых в последних боях под Петергофом подбирали санитарные машины, курсировавшие по приморскому шоссе, и свозили в полевой госпиталь в Ораниенбауме, а ночами на кораблях, под бомбежкой переправляли в Ленинград. Не всем кораблям удавалось дойти до города, моему повезло, и я находился в его госпиталях до середины декабря, когда меня на самолете вывезли на «большую землю». Долечивался я в госпитале в Перми, а поскольку моя левая рука была выведена из строя, меня оставили на политработе в госпитале. Там я и работал до конца войны, читал раненым лекции, рассказывал о ходе войны, старался поддерживать духовно молодых ребят, искалеченных войной, не знавших, как жить после выхода из госпиталя, ибо родная земля многих была оккупирована, организовал из одноруких и одноногих солдат самодеятельный хор и сам выступал в роли дирижера...

Ю. М.: Во время Вашей работы в госпитале, чем Вы занимались помимо основных обязанностей?

М.С.: У меня не оставалось времени на что-либо еще, кроме работы. Я проводил в госпитале все время, переходя из палаты в палату, беседуя с ранеными, организуя различные общественные мероприятия, потому что комиссаром госпиталя был рабочий с близлежащего завода, хороший человек, но необразованный, и вся идеологическая работа лежала на мне.

Ю.М.: Как ни странно, но во время боевых действий у Вас все же нашлось время что-то записывать, а в госпитале Вы этого делать не могли.

М.С.: Не только не было для этого времени, но голова была занята другим. Многие солдаты были малограмотны, прессы не хватало и на грамотных, но все жили интересами войны, и поэтому приходилось вести огромную работу информационного и культурно-воспитательного характера. Только тогда, когда в 1944 г. стало ясно, что победа близка и что предстоит скорое возвращение в Ленинград, я поступил на филологический факультет Пермского университета, чтобы вспомнить то, что узнал до войны и подготовиться к занятиям в аспирантуре. И тут неожиданно произошел новый поворот в моей интеллектуальной биографии: перечитав «Евгения Онегина», я открыл ключ к пониманию его содержания и структуры, и за несколько месяцев написал исследование этого удивительного, уникального в истории нашей литературы, произведения.

Становление метода

Ю.М.: Профессиональный интерес к творчеству Пушкина у Вас проявился только в конце войны, когда Вы находились в Перми? И Вы считаете, что с исследованием «Евгения Онегина» связано дальнейшее формирование Вашей научной методологии?

М.С.: Да, несомненно. Теоретически я тогда эту методологию осознать и сформулировать, конечно, не мог, но она складывалась стихийно в ходе самого анализа художественной ткани романа, поскольку я вдруг почувствовал, что доминирующей эстетической «краской» повествования является ирония, и я захотел понять, чем это объясняется и какими художественными средствами эффект этот достигается. В литературоведческих сочинениях, посвященных анализу романа, я ответа на эти вопросы не находил, и потому должен был попытаться найти их самостоятельно. В результате родилась целая книга, объемом более 8 печатных листов, состоявшая из двух частей: первую часть я назвал «Лаборатория иронического приема», исследовав разные типы иронии, примененные поэтом в богатом по психологической структуре повествовании, свободно переходившем от мягкого юмора к сарказму и использовавшим для этого различные художественно-языковые средства, а во второй части рассмотрел те идейные смыслы, которые были заключены во всех этих иронических «формулах».

Так анализ романа А.С.Пушкина стал моим первым опытом структурного анализа художественного произведения.

Ю.М.: Немарксистским?

М.С.: Я думаю, что к марксизму структурный анализ не имеет никакого отношения, это — конкретный метод анализа сложно организованных систем. Тем более, я не ограничился выявление структуры поэтического текста романа, но, как я

уже сказал, всю вторую часть исследования посвятил анализу содержания, этой структурой выражавшегося, структурализм же абсолютизировал изучение структур познаваемых социокультурных систем, и потому оказывался односторонним методом познания, но не «антимарксистским», как это склонны были в свое время считать догматически мыслившие теоретики, считавшие собственные методологические представления единственно «подлинно-марксистскими». Дело доходило ведь до того (я испытал на себе подобные обвинения), что сами понятия «структура» и «система» эти тупоголовые защитники марксизма объявляли «антимарксистскими»...

Ю.М.: Вы считаете возможным говорить об ироническом стиле «Евгения Онегина»?

М.С.: Да, именно так, в то же время отличая его от так называемой «романтической иронии», ибо ирония Пушкина не была выражением универсального неприятия действительности, в которой было нечто, перед чем она останавливалась.

Ю.М.: Перед чем же? И как Вы объяснили столь широкое ее использование в «Евгении Онегине»?

М.С.: Я объяснил это тем, что ирония поэта, в отличие от универсальности романтического мировосприятия, имела конкретные социокультурные адреса: от быта русской аристократии в Петербурге, Москве и помещичьей провинции до разных типов романтического героя в образах Ленского, Онегина, юной Татьяны. И единственный персонаж, на которого не распространилась пушкинская ирония, была няня Татьяны, нравственное влияние которой на главную героиню романа преодолело ее юношеские увлечения «обманами» «и Ричардсона, и Руссо», сделав ее *носителем народной нравственности*: «я другому отдана и буду век ему верна», — не вызвавшей иронического отношения, в отличие от любовного письма Онегину юной Татьяны (любопытно, что я обнаружил почти текстуальное совпадение описаний Татьяны и Людмилы в народной сказке Пушкина).

Ю.М.: Вы считаете, что Пушкин нашел способ отрицания российской действительности через использование приемов иронии?

М.С.: Таков вывод, к которому привел скрупулезный анализ текста: «Онегин» был первым социально-критическим романом в истории русской литературы, в котором неприятие реальности охватило и социальный быт, и бесплодность поведения первого российского «лишнего человека», и даже — в десятой главе — неэффективность социального действия декабристов, противостоявшего социальному бездействию Онегина, но остававшегося романтическим же по своей сути. Для верной оценки социально-критического, и потому антиромантического, смысла пушкинской иронии, следует учесть и то, что ему принадлежали замыслы «Мертвых душ» и «Ревизора», и то, что из его романа выросли и традиция изображения в русской литературе XIX в. социального типа «лишнего человека», и традиция надления героини реалистических романов — Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского — функцией *нравственного судьбы поведения мужчины*: лишенная возможности прямого социального действия, женщина выносит, говоря термином Чернышевского, «приговор» имеющему такую возможность

мужчине, и приговор этот не политический, не религиозный, не эстетический, а именно нравственный.

Ю.М.: Интересно такое распределение ролей: мужчина активен, но при этом зависит от мнения женщины... Выходит, в глубинах национальной культуры женщина олицетворяла нравственное начало, тогда как деятельное, прагматическое начало свойственно мужчине?

М.С.: Да, именно так, и я писал об этом не раз в работах по эстетике, развивая выводы, полученные в ходе анализа «Евгения Онегина».

Однако анализ этот имел для меня неожиданные ближайшие последствия. Когда я вернулся в Петербург, Иеремей Исаевич познакомил меня с одним из самых известных наших литературоведов Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, который, прочитав мою рукопись, предложил мне выступить с докладом на пушкинском семинаре в Институте литературы Академии наук, который он вел, и после обсуждения хотел напечатать сокращенный вариант этого исследования в «Пушкинском временнике», главным редактором коего он тогда являлся. Но произошло все это весной 1946 г., накануне печально знаменитого постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», после которого Эйхенбаум был заклеен как формалист, «Пушкинский временник» закрыт, а в стенгазете Пушкинского дома появилась статья с разгромной критикой моего доклада как формалистического...

Ю.М.: Так произошло Ваше первое столкновение с режимом?

М.С.: Да, но поскольку партбюро Института литературы не сообщило об этом в университет, аспирантом которого я являлся, последствий для меня этот инцидент не имел.

Мой учитель

Ю.М.: Мне известно, что у Вас были самые тесные отношения с профессором Иоффе, которого Вы считаете своим научным руководителем. Часто бывает так, что человек, когда пишет мемуары, говорит, чтобы укрепить свое реноме, что его учителем был кто-то из знаменитостей, несколько преувеличивая взаимность отношений. В каких отношениях с Иоффе Вы состояли на самом деле, и как он сам к Вам относился?

М.С.: Как это не странно, но я был вообще единственным его аспирантом и учеником. Точнее, у него было еще два аспиранта, но они не имели никакого отношения к его методологии. Поэтому Иеремей Исаевич связывал со мной надежды на продолжение своего дела. Еще в аспирантские годы он сделал меня секретарем кафедры, и отношения у нас были не только профессиональные, но и дружеские. Я не раз бывал у него дома, где он и познакомил меня с Эйхенбаумом. Представляя совершенно различные в методологическом отношении позиции в науке, они были по-человечески близки и толерантны к иным научным позициям. Борис Михайлович, выступая оппонентом на защите Иеремеем Исаевичем его докторской диссертации (он защищал свою книгу «Синтетическое изучение искусства и звуковое кино»), сказал: «честно признаюсь, я не понял половины того, что здесь написано, но если то, чего я не понял, так же хорошо, как то, что я понял, то...» и т.д.

Иоффе собрал на своей кафедре коллектив из самых сильных ленинградских ученых-искусствоведов, для подготовки нового поколения ученых широкого профиля, сочетающих знание истории изобразительного искусства и литературы, музыки, театра, киноискусства, тем самым способных «синтетически», как он это называл, изучать историю художественной культуры; я был его помощником в этом деле, и уже после смерти Иеремея Исаевича создал на факультете студенческий «кружок синтетиков», весьма интересно проработавший несколько лет (немногие его участники, не ушедшие из жизни, до сих пор сохраняют о нем самые теплые воспоминания). В 1946 г., когда я был еще аспирантом второго курса, Иоффе поручил мне подготовить и начать читать курс теории искусства (эстетики тогда еще в учебной программе не было и такой предмет как «теория искусства» должен был выполнять ее функции; такой предмет должен был теоретически объединить все виды искусства, обосновывая необходимость их синтетического изучения). Иоффе создал уникальную по составу кафедру, объединявшую представителей разных областей искусствознания и искусства, ученых и практиков, от искусствоведа Н.Н. Пунина до кинорежиссера Л.З. Трауберга. Вместе с тем, он был совершенно неприспособленным к советской жизни человеком, погруженным в науку и педагогику в среде узколобых догматиков от марксизма, окружавших нас на историческом факультете; начавшееся в 1946 г. «наступление партии на идеологическом фронте» непосредственно затронуло истфак, власть на котором стало завоевывать поколение пришедших после войны невежественных и потому особенно ревностных догматиков, выучивших несколько идеологических формул и громивших с их помощью профессоров старой закалки, крупных ученых, неспособных приспособиться к начавшемуся в стране и особенно сильному в Ленинграде идеологическому террору; не сомневаюсь, что только неожиданная смерть летом 1947 г. спасла Иеремея Исаевича от репрессий, выразившихся в «борьбе с космополитизмом» и в «ленинградском деле». Неудивительно, что ему все время чудились враги, затевающие против него какие-то козни, и мне приходилось его успокаивать, хотя для его страхов и подозрений имелись достаточные основания.

Впрочем, были известные шероховатости и в наших отношениях: он ревниво отнесся к моей работе над Пушкиным, считая это предательством по отношению к синтетическому изучению искусства. Я объяснял, что это — своего рода лирическое отступление от моей работы над диссертацией. События 1946 г., о которых я уже рассказывал, разрешили эту ситуацию непредвиденным образом...

Испытания продолжают

Ю.М.: Как же дальше складывалась Ваша жизнь?

М.С.: Более серьезное столкновение с официальной идеологией, чем критика моего исследования романа Пушкина, было связано все с теми же идеологическими событиями — постановлением ЦК партии о литературе, которое предписывалось пропагандировать и применять к местным условиям в партийных организациях всех учреждений и высших учебных заведений, имевших касательство к идеологии. Поскольку я вернулся с войны коммунистом, а на искусство-

ведческом отделении нас было только двое, на нас возлагалась ответственность за претворение в жизнь этих предписаний, и, прежде всего — за проявление идеологической бдительности в разоблачении «собственных зоенков и ахматовых». Сделать это было на нашей кафедре нетрудно: у нас преподавал Николай Николаевич Пунин, один из лидеров «левых» в искусстве первых послереволюционных лет. Естественно, что партийное бюро потребовало, чтобы я выступил с его разоблачением. Отказаться было невозможно, и единственное, что я мог себе позволить — это признание ложности позиции профессора Пунина в 1918 — 1920 гг., когда он выступал с резкой критикой реализма, но при этом я уверял, что сейчас он этих взглядов не разделяет и было бы неправомерно обвинять его в ошибках многолетней давности, тем более, сказал я, что тогда еще не было марксистской эстетики, и не мог Пунин знать, каково правильное решение данной проблемы. Тут уж огонь критики перенесся на меня («как это не было марксистской эстетики? — возмущенно кричал мой сокурсник по аспирантуре, — марксистская эстетика была всегда!»). Но разоблачение Николая Николаевича сорвалось, и он остался преподавать на нашей кафедре, пока в 1949 г. его не арестовали по «ленинградскому делу»; в лагере он и умер.

Меня же сразу после этого собрания вызвал к себе секретарь парткома факультета и провел со мной надолго запомнившийся мне разговор. «Ты понимаешь, — спросил он, — что своим выступлением ты поставил под сомнение правоту самого Сталина, мнение которого выражает постановление ЦК? Так можешь ли ты себе представить, что великий Сталин неправ, а ты прав? Пойди и хорошенько подумай, как такое могло получиться».

Я не спал несколько ночей, мучительно размышляя над тем, как, действительно, такое могло случиться, и искренне желая привести свои взгляды в соответствие с вырабатываемой гением Сталина позицией коммунистической партии. Так начались самые сложные годы в моем духовном развитии. Я преподавал введенный Министерством курс «Марксистско-ленинской эстетики», излагая ее так, как я ее понимал, потому что ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина никакой эстетической теории не было, а советские «марксисты» во главе с Михаилом Лифшицем выдавали за таковую собственные представления, абсолютизовавшие роль реализма в истории искусства, с чем я никак согласиться не мог. И когда я стал читать спецкурс по теории реализма, расхоронившийся в исходных позициях с этими взглядами, партийное руководство факультета организовало обсуждение программы этого курса, в ходе которого меня обвинили в пропаганде антиреализма, антропологизма, субъективизма и, в конечном счете, антимарксизма. Итогом должно было стать изгнание меня с факультета. Такое решение было принято весной, а через месяц арестовали декана факультета, обвинив его в былой связи с троцкизмом; постановление о моем увольнении осталось неподписанным, и я продолжал работу на факультете.

Несколько лет спустя я стал предметом новой атаки, исходившей на сей раз от инструктора горкома партии, опубликовавшего в газете «Ленинградская правда» антисемитскую статью, направленную против ряда «космополитов», как тогда стыдливо именовали евреев, читавших лекции в ленинградских учреждениях

культуры, в числе которых оказался и я. Однако и тут случился «прокол»: коллектив Пушкинского театра, в котором я читал данный курс, вступился за меня, партбюро театра обсудило эту клеветническую статью и послало протокол этого обсуждения в горком, опровергнув предъявленные мне идеологические обвинения, поскольку же в составе коллектива этого театра были такие всеми почитаемые артисты как Черкасов, Толубеев, Борисов, с мнением которых нельзя было не считаться, и хотя никакого опровержения статьи газета так и не опубликовала, меня оставили в покое, и я продолжал работать в университете.

Попытки такого рода предпринимались еще несколько раз по разным поводам, но каждый раз они срывались; подробно я рассказал об этом в книге «О времени и о себе», а сейчас замечу лишь, что за всеми этими «приключениями» стояло нарастающее расхождение позиций между официальной трактовкой эстетической теории, признанной «марксистско-ленинской» в идеологическом отделе ЦК КПСС, и моим толкованием взглядов Маркса на сей предмет, которые я отстаивал не из упрямства, а доказывая свою правоту анализом его текстов. Соответственно, расходились и мои взгляды на современное искусство, на суть социалистического реализма с позицией руководства Академии художеств, что порождало конфликты и с руководством этого учреждения. А нравственные устои не позволяли мне проповедовать взгляды, которые я считал ошибочными, несмотря на сулившие при этом жизненные блага, и удерживаться от критики позиций, которые, по моему убеждению, компрометировали марксизм и наносили вред советской художественной культуре. Поэтому я встретил разоблачение «культы личности» как объяснение трагической истории страны и разрешение мучивших меня противоречий, при том, что совсем непросто обнаружить ложность собственной веры и «расстричь» своего бога в простого дикого быка...

Покаяние

Ю.М.: Если позволите, Моисей Самойлович, я затрону в этой связи тему гражданской ответственности ученого. Вы один из первых и очень немногих людей, кто открыто выступил в начале 90-х годов с публичным покаянием за участие в идеологических кампаниях советского времени. Свидетелями и непосредственными участниками тех событий было великое множество ныне живущих людей, но они ничего не говорят об этом. Как будто заключили заговор молчания. Почему все же Вы решились на этот шаг именно в 1991 году, спустя столько лет?

М.С.: Я уже говорил о значении нравственного критерия в моей научной и педагогической деятельности, поэтому, при всех вынужденных компромиссах по частным вопросам, я шел на них ради того, чтобы иметь возможность выражать и пропагандировать взгляды, которые я считал полезными для развития культуры нашего общества, и шел сознательно на конфликт с вульгаризировавшей марксизм официальной идеологией. Парадоксальность моей (и не только моей) биографии заключается в том, что я до сих пор остаюсь приверженцем марксистской философии — именно философии, ибо решительно не принимаю, и никогда не понимал, учения Маркса о пролетарской революции и диктатуре пролетариата, то есть его политических идей, которые Ленин выдавал за самую суть

марксизма; к чему привело их претворение в жизнь, мы узнали на печальном опыте нашей страны, да и всех других народов, пошедших за Россией по этому пути. Оно и неудивительно: ведь такая политика противоречит собственному социально-философскому учению Маркса о способе производства как основе политической надстройки, ибо не может политическая революция, да еще пролетарская, сделать то, что не обеспечено уровнем развития производительных сил; это понимал Плеханов, но не хотел понять Ленин, воспитанный не на философии Маркса, а на идеалистических взглядах русских народников: его позиция отличалась от их утопического представления о возможности построения социализма в крестьянской, полуфеодальной России только тем, что расчет его старшего брата на индивидуальный террор он заменил развязыванием массового террора. Поскольку же на протяжении нескольких десятилетий я не только не подвергал критике эти взгляды и закономерно порожденную ими террористическую практику Сталина, но пытался даже найти в ней некую логику исторического развития и вступал с нею в те или иные компромиссы, я счел своим нравственным долгом, когда это стало возможным, осуществить акт публичного гражданского покаяния, ощущая и свою долю ответственности за произошедшее в советской художественной культуре в послевоенные годы. Впрочем, не я один это сделал: сошли хотя бы на исповедальную книгу замечательного ученого, публициста и писателя Д. Данина.

Правда, я утешал себя тем, что та система взглядов, которую я воспитывал у своих учеников, в университете и в среде деятелей искусства, и те оценки, которые я давал произведениям искусства как художественный критик, не укрепляли, а расшатывали официальную идеологическую доктрину, потому что были выражением позиции «шестидесятников» (конечно, романтической, содержавшей иллюзии возможности построения «социализма с человеческим лицом», по формулировке наших чешских единомышленников, но оппозиционной по отношению к господствовавшей идеологии, в смягченном виде сохранявшей истоки ленинизма). И все же участие в пропаганде, например, постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, не давало покоя совести и требовало объяснения, другим, да и самому себе, что хотя бы отчасти могло искупить эту вину. Объективно оценивая свою деятельность, должен признать ее внутренне противоречивой, и открытое для всех выявление этой противоречивости представлялось необходимым в это переходное и переломное время.

Ю.М.: Погодите, Моисей Самойлович! Нужная небольшая биографическая справка. Вы сначала учились на филологическом факультете университета, затем перешли на исторический факультет, а как Вы попали на философский факультет?

М.С.: На философский факультет я перешел в 1960 г., когда там создали кафедру этики и эстетики. Этикой там было кому заниматься, а вот эстетику преподавать было некому, и читать этот курс пригласили меня. Поначалу я сохранил полставки на историческом факультете, взяв полставки на философском, полагая, что в складывавшихся обстоятельствах ликвидации «оттепели» и ползучего возрождения сталинизма лучше иметь две жизненные точки опоры, чем одну; но через пару лет я полностью перешел на фи-

лософский факультет, где и защитил впоследствии докторскую диссертацию, в которой было изложено мое понимание эстетики, трактованной с позиций философии марксизма, и организовал коллектив ученых, написавший пятитомную историю эстетической мысли и двухтомную историю мировой художественной культуры. А одновременно происходил тот сдвиг моих интересов в сторону все более широкой философско-культурологической проблематики, о котором у нас уже шла речь.

Вместе с тем, в 50-е – 70-е годы в моей деятельности, параллельно с педагогикой и научными исследованиями в сфере эстетики, я весьма активно действовал на попрание художественной критики, вступив и тут в конфронтацию с реакционной художественной политикой руководства Академии художеств и Союза художников РСФСР. Правда, известная компромисность моих выступлений была неизбежна и здесь, но художники это хорошо понимали и одни оценивали мою деятельность весьма позитивно, а другие видели во мне идеологического и эстетического противника. Это завершилось разгромом моей книги «Морфология искусства» в 1975 г. в Академии художеств, проведенном под руководством вице-президента Академии В.Е. Кеменова и по инициативе официального лидера советской эстетики, которого печатал даже теоретический орган ЦК журнал «Коммунист», Михаила Александровича Лифшица.

Ю.М.: Не хотите ли рассказать подробнее об этом эпизоде Вашей непростой, как оказывается, жизни в науке?

М.С.: Готов рассказать, и не столько потому, что это было, действительно, одно из самых драматичных событий в моей жизни, едва не закончившееся моим изгнанием из университета и отлучением вообще от всякой деятельности в сфере культуры, а, прежде всего, потому, что в нем рельефно отразились условия нашего духовного существования в советские времена.

Дискуссия, которая могла стать личной трагедией

М.А. Лифшиц – автор, мало известный современному читателю, большая часть его сочинений не выдержала проверки временем и представляет сегодня лишь исторический интерес. В этом смысле судьба его истинно трагична: человек высоко образованный, талантливый историк философско-эстетической мысли, блестящий памфлетист, он посвятил свою деятельность преимущественно обоснованию теории «большого реализма», разработанной им вместе с жившим в 30-е годы в СССР венгерским эмигрантом, известным философом и эстетиком Г. Лукачем; суть этой теории состояла в том, что вся мировая история искусства является историей борьбы реализма и антиреализма (по аналогии с примитивной трактовкой Энгельсом и Лениным истории философии как борьбы материализма и идеализма). Применительно к современности это означало, что советское искусство должно быть только реалистическим, а модернистское искусство буржуазного общества является антиреалистическим, и с ним должна вестись непримиримая борьба. Но, в отличие от своего венгерского единомышленника (которого за самостоятельность его трактовки марксизма наши догматики объявят ревизионистом), Лифшиц был идеологом ленинско-сталинской

выучки: подобно религиозным проповедникам, он допускал существование лишь одной трактовки взглядов Учителя (разумеется, своей), а все другие трактовки взглядов Маркса или принципов реализма считал еретическими, и посвятил свой талант злого и остроумного памфлетиста, питавшийся высокомерно-презрительным отношением ко всем, кто не разделял его взглядов, разоблачению этих «идеологических врагов» — от писательницы Мариеты Шагинян до искусствоведа Германа Недошивина, — как антиреалистов, антимарксистов, проповедников буржуазного модернизма...

Однако в 30-е годы Лифшиц искал мирный способ обоснования правильности своего понимания реализма, — он хотел доказать, что его понимание соответствует взглядам классиков марксизма; для этого он провел скрупулезный анализ собрания их сочинений, извлекая из них все суждения об искусстве, сколь бы частными они ни были, и издал в 1933 г., а затем расширенный вариант в 1937 г., сборник «Маркс и Энгельс об искусстве».

Хрестоматии такого рода представляют несомненный интерес для изучения истории культуры, поскольку знакомят нас со взглядами выдающихся деятелей культуры по данному кругу вопросов; однако в советской стране, в условиях религиозного отношения к трудам основоположникам марксизма, издание их суждений по любому кругу вопросов имело целью не изучение их взглядов, а канонизацию каждого их конкретного высказывания, подобно тому, как богословие делало это с каждым словом Священного писания, даже если это было речение не самого Сына Божьего, а одного из его апостолов. К тому же подобная публикация создавала в данном случае ложное представление, будто личные эстетические вкусы основоположников марксизма непосредственно выражали их философские и социально-политические взгляды, и что поэтому марксистская эстетическая теория должна базироваться на вкусах классиков марксизма. Однако те или иные вкусы есть у каждого человека, а система осознаваемых и формулируемых эстетических взглядов — далеко не у каждого, а выводить теоретическую концепцию у того, у кого она имеется, из его вкусов, нет никаких оснований (я уже упоминал, что когда издатель американской энциклопедии Ч. Дарвин предложил Марксу написать экспликацию термина «Эстетика», тот отказался, сославшись на свою некомпетентность в данной области).

Поскольку же Лифшицу сама эта хрестоматия нужна была для того, чтобы доказать соответствие своей теории «большого реализма» взглядам классиков, он пренебрег хорошо ему известными принципами научного анализа и так сгруппировал собранный им материал, что книга открывалась серией конкретных высказываний Маркса и Энгельса по частным вопросам теории *современного реалистического романа*, содержавшихся в их письмах оценками *некоторых реалистических литературных произведений* (значит, вообще не предназначенных для опубликования!), и упоминаниями о творческих позициях некоторых великих художников прошлого — Рафаэля, Рембрандта, Шекспира, Шиллера, Бальзака, — что должно было создавать у читателя впечатление, будто таковы исходные позиции эстетической концепции классиков — признание реалистической сущности художественного творчества! В то же время, действительно основополага-

ющее для понимания Марксом сущности искусства положение о генетической связи художественного способа «освоения мира» (а не его познания!) с мифологией и о его родстве с религиозным способом освоения действительности, поскольку они порождаются силою воображения, фантазии (а не являются, подобно науке, «продуктом мыслящей головы»), отнесено составителем в раздел «Различные замечания», наряду с действительно частными замечаниями об импровизации или переводе. Так «подверстал» Лифшиц эстетические взгляды основоположников марксизма под свою теорию «большого реализма». Естественно, что раньше или позже эта фальсификация должна была быть обнаружена.

Ю.М.: И это сделали Вы?

М.С.: Да, но сделал не сразу, потому что, излагая в «Лекциях по марксистско-ленинской эстетике», в «Морфологии искусства» и в «Человеческой деятельности» свое понимание сущности искусства, соответствовавшее упомянутым взглядам Маркса, и свое, конкретно-историческое понимание реализма, радикально расходившееся с позицией Лифшица, я не мог подвергнуть ее прямой критике (этого не пропустила бы цензура), а умный читатель и без того понимал, какой концепции противопоставляются обосновываемые мной идеи. Но неожиданно, в 1967 г., в связи с тридцатилетним юбилеем выхода в свет упомянутой хрестоматии и с ее новым двухтомным изданием, главный редактор журнала «Иностранная литература» Б.С. Рюриков обратился ко мне с предложением написать на эту книгу рецензию. Я ответил, что не могу этого сделать, потому что у меня серьезные претензии к составителю данной хрестоматии, а опубликовать их Вы не решитесь. На это последовал ответ: «Пишите то, что Вы думаете, и если это будет убедительно, мы рецензию опубликуем». И действительно, в № 5 журнала за 1968 г. она появилась без каких-либо сокращений и исправлений.

Ю.М.: Вы сделали этот шаг, зная о том, какие могут быть для Вас последствия открытой конфронтации с представителем господствующей эстетической доктрины?

М.С.: Признаюсь, зная его самовлюбленность, неприятие какой-либо критики его идей, я ожидал появления очередного пасквиля, и не удивился, когда мне рассказывали московские коллеги, как он, разгневанный, бегал по Перedelкину и обещал «спустить с меня штаны и высесть», сильнее, чем героев его предыдущих фельетонов; но того, что произошло в действительности, я никак не ожидал. Тем более что моя рецензия была написана в уважительном тоне, с положительной оценкой самого издания, но с критикой его построения, создающего ложное представление о понимании Марксом сущности искусства и места в его истории реализма. Однако Лифшиц предпочел иной способ мести, который имел бы самые серьезные последствия для моей дальнейшей научной и педагогической деятельности. Когда в 1972 г. году вышла в свет моя книга «Морфология искусства», Лифшиц решил, что она дает основания для уничтожающей идеологической критики, и организовал ее обсуждение в Академии художеств, где он в то время возглавлял сектор эстетики. Особенность этого обсуждения состояла в том, что оно было сделано «закрытым», т.е. всем московским коллегам, которые хотели бы принять в нем участие, вход был запрещен, дабы никто не мог высказать положительную

оценку книги (единственное исключение было сделано для профессора Столовича, поскольку, узнав о предстоящем обсуждении и ничего не подозревая о замысле его организаторов, он специально приехал из Тарту для участия в нем, и его неудобно было не пустить в зал заседания). Участвовали же в нем получившие такое задание все члены сектора эстетики, написавшие свои пространные отзывы и зачитывавшие их после основного доклада Лифшица, длившегося более часа, а все обсуждение шло более 6 часов. Если в наши дни кто-нибудь хочет получить удовольствие, познакомившись с содержанием всех этих выступлений, он может прочесть стенограмму заседания, опубликованную в двух номерах журнала «Художник», расширенный вариант выступления Лифшица, доведенный им до 95 (!) страниц книжного текста (и не жалко было ему тратить столько интеллектуальных усилий и драгоценного для каждого ученого времени, чтобы написать этот гигантский пасквиль!), был опубликован в сборнике его статей «В мире эстетики», изданном в 1985 г., через два года после смерти автора, с благословения рецензировавших рукопись докторов философских наук В.И. Толстых и В.П. Шестакова. Таковы царившие в нашем обществе нравы...

Ю.М.: Признаюсь, не читал этого сочинения, но непременно хотя бы просмотрю (как говорится, страна должна знать своих героев). Но интересно, на самом обсуждении Вам хотя бы дали слово?

М.С.: Дали, и даже дважды: Кеменов, который вел заседание, очень хотел создать видимость объективного хода обсуждения. Думаю, потому и допустили на это закрытое заседание одного чужака, профессора Столовича, что ждали от него положительной оценки книги и потом могли доложить в ЦК: видите, мол, как объективно шло обсуждение, были выступления не только против, но и за... Поэтому мы со Столовичем решили не давать им такую возможность, и он не выступал. В моих выступлениях показывалась необъективность, предвзятость выдвигавшихся мне обвинений; я рассказал публике, в частности, что главный после Лифшица мой обвинитель Ванслов после прочтения моей книги высказал мне лично ее высокую оценку, а теперь, не глядя мне в глаза, повторял и даже усугублял инвективы своего шефа. Примечательно и то, что после моего первого выступления ко мне подошел Кеменов и сказал: «Моисей Самойлович, Вы поймите, мы Вам добра желаем, поэтому правильнее было бы, если бы Вы признали свои ошибки». Я сказал, что готов признавать свои действительные ошибки, но не соглашусь с критикой, основанной на искажении моих взглядов и сводящуюся к идеологическим обвинениям.

Конечно, выступал я впустую: на мои аргументы никто не отвечал, каждый читал заготовленный текст, рассчитанный на одобрение начальства... Правда, для большинства этих «эстетиков» неприятие моей концепции искусства было вполне искренним: Лифшиц и Кеменов так подобрали «теоретические кадры», что все это были люди примитивно мыслящие, которым оппозиция «реализм — антиреализм» была, как говорится, «по уму».

Ю.М.: Скажите, а зачем вся эта комедия была нужна Лифшицу?

М.С.: Как выяснилось в дальнейшем, он предполагал, что сокращенную стенограмму заседания или хотя бы отчет о нем опубликует журнал «Комму-

нист», а этого было бы достаточно для моего исключения из партии и отстранения от всякой работы в идеологической сфере, как антимарксиста и антиреалиста. Но оказалось, что редакция журнала, по неизвестным мне причинам, опубликовать этот материал не стала; тогда Лифшиц передал его в «Вопросы философии», но и там отказались его печатать; тогда он спустился еще рангом ниже, в журнал «Искусство», но и там ничего не добился. Оставалось опубликовать его в журнале «Художник», органе, тесно связанном с Академией Союза художников РСФСР. Но удовлетвориться этим он не мог, потому что для моего университетского начальства публикации этого журнала директивной силы не имели, и Лифшиц с Вансловым послали эти материалы в Ленинградский обком партии, призывая устроить обсуждение моей книги в Ленинграде; одновременно было дано распоряжение руководству подведомственного Академии Института имени Репина организовать аналогичное московскому обсуждение моей книги на искусствоведческом факультете. Распоряжение это было выполнено, но его организаторы постыдились проводить его при мне и меня даже о нем не оповестили (впоследствии я имел возможность познакомиться с его стенограммой и поразился тому, как могли шельмовать меня люди, считавшиеся моими друзьями или просто уважительно ко мне относившиеся, но страх перед невыполнением указаний московского академического начальства был сильнее элементарных норм порядочности).

Поскольку Ленинградский Университет был подчинен тому же райкому партии, что и Институт Репина, секретарь райкома по идеологии, дама, соответствующим образом настроенная партийными органами Института и руководством Академии, велела устроить обсуждение моей книги на президиуме философского общества Ленинграда, председателем которого был декан нашего факультета. Он безропотно подчинился этому распоряжению и собрал президиум ленинградского отделения Философского общества, пригласив в качестве рецензентов идеологических громил, представлявших довольно большую и сплоченную группу преподавателей нашего факультета, целью деятельности которых было, по признанию одного из них в пьяном состоянии, «очистить факультет от жидов и интеллигентов». Они и выступали соответствующим образом, а большинство начинали свои погромные речи сакраментальным: «Я не являюсь специалистом в области эстетики, но...», или: «Я книгу Кагана не читал, но...». По образцу московского, заседание проводилось «в закрытом режиме», чтобы не пришел никто из преподавателей, способных дать положительную оценку книги, но с моим участием. Все же на заседание пришло три незваных философа, которые не побоялись выступить, опровергая обвинения «черных полковников» (как я их обозвал по аналогии с военными, готовившими в Греции фашистский переворот), в мою защиту.

Ю.М.: Кто были эти люди?

М.С.: Я с удовольствием назову их имена: Виктор Александрович Штофф, Мария Семеновна Козлова, Юрий Валерианович Перов. Разумеется, их выступления ничего не могли изменить, потому что постановление Президиума было написано еще до заседания и в том именно духе, какой отвечал требованиям се-

кретаря райкома партии и расчетам Михаила Александровича Лифшица: признать книгу антимарксистской и не рекомендовать ее автора для прохождения на очередном конкурсе (а он предстоял у меня через несколько месяцев).

Обсуждение длилось до 12 часов ночи, начавшись в 6 часов вечера, и завершилось предоставлением мне ответного слова; терять мне было нечего, поскольку я понимал, что мое выступление ничего не изменит, и я решил даже не пытаться опровергать обвинения во всех возможных идеологических грехах и перейти в контрнаступление: я понимаю, сказал я, почему с такой беспардонной критикой выступали некоторые из участников обсуждения, давно меня ненавидевшие и получившие возможность свести со мной счеты; но мне непонятно, продолжал я, как в этом ряду оказался профессор Тутаринов, который был первым оппонентом на защите моей докторской диссертации, дал ей самую высокую оценку, а в ней были две главы, кратко излагавшие содержание книги «Морфология искусства». Как же, Василий Петрович, обратился я прямо к нему, Вы можете сейчас считать эту книгу антимарксистской?

Оказалось, что этот полемический ход меня спас: Тутаринов залился краской и закричал: «Я не говорю, что Вы антимарксист! Если бы я так считал, я вообще не пришел на это обсуждение!». Поскольку же Василий Петрович был самым уважаемым ленинградским философом и учителем большинства «черных полковников», никто не мог ему возразить, и пришлось срочно переделывать резолюцию: вместо обвинения в антимарксизме было сказано об имеющихся в книге «серьезных методологических ошибках». А этого для того, чтобы провалить меня на конкурсе, было все же недостаточно.

Поэтому, когда подошел срок подачи документов, декан вызвал заведующего кафедрой Владимира Георгиевича Иванова и сказал ему: «Передай Кагану, чтобы он не вздумал подать документы на конкурс. Если подаст, партбюро не даст ему рекомендации и ученый совет его «завалит». Владимир Георгиевич спросил: «На каком основании завалит?». Декан ответил: «Очень просто. Мы устроим обсуждение «Человеческой деятельности», и еще почище разгромим, чем «Морфологию искусства». (А два «черных полковника» уже написали разгромную рецензию на «Человеческую деятельность» и послали ее в «Вопросы философии», а когда там это хулиганское сочинение печатать отказались, передали ее в другой журнал, где членом редколлегии был заведующий кафедрой научного коммунизма нашего факультета, который настаивал на ее публикации. Не буду рассказывать Вам всю детективную историю, закончившуюся тем, что ее и там не стали публиковать. Впрочем, я рассказал об этом в моих уже упоминавшихся мемуарах).

Володя Иванов, который пригласил меня возглавить на организованной им кафедре этики и эстетики ее эстетический раздел и с которым мы были дружны, сразу приехал ко мне, передал содержание беседы с деканом и заключил: «Как поступать в этой ситуации, решай сам, я уже ничего для тебя не могу сделать. Да и декан дал понять, что это не его инициатива, а указание «сверху». Я это понимал, и потому решил, что раз дело обстоит таким образом, действительно не стоит подавать на конкурс (как говорят в народе, «плетью обуха не перешибешь»). А в тюрьму тогда за идеологические прегрешения уже не сажали, да и в «психушку» только «за политику» отправляли...

Ю.М.: Ну, и как же развивались события дальше?

М.С.: По законам хорошего детектива. В это время в Ленинграде готовился объединенный пленум правления творческих союзов (писателей, художников, композиторов и пр.), где с докладом должен выступать первый секретарь обкома партии, член Политбюро ЦК КПСС Романов. И мне друзья сообщают, что в подготовленном для него докладе о положении дел в литературе и искусстве города есть абзац, посвященный «Морфологии искусства» некоего искусствоведа Кагана, где проповедуется формализм ... и т.д., все по трактовке Лифшица и его «подпевал». Я понял, что это — последняя точка в моем деле, что Михаил Александрович добился своей цели и суждение члена Политбюро, сколь бы невежествен он ни был, никто оспорить не сможет. В общем, думал я, как-нибудь проживем (я получал маленькую, солдатскую военную пенсию, жена работала); во всяком случае, ни в Израиль, ни в США мы не уедем, — этот выход из положения для меня и для моей жены был исключен, мы слишком глубоко вросли в русскую культуру, чтобы представить себе жизнь за ее пределами (конечно, если не выдворят силою, как когда-то это делали на «философских пароходах», а в наше выдворили из страны Соляницына, Бродского, Эткинда...).

Оказалось, однако, что в докладе Романова обо мне не было сказано ни слова (кто-то из готовивших его текст в последний момент этот абзац вычеркнул). Тогда я понял, что указания на мое изгнание из университета исходят не из обкома партии, и запросил об этом отдел науки, рассказав им всю историю моего конфликта с Лифшицем и стоящей за ним Академией художеств. Мне ответили, что у обкома ко мне нет претензий и что организация ленинградских обсуждений — «самодеятельность райкома партии». Об этом было сообщено в университет, и ректор вместе с секретарем парткома дали указание декану нашего факультета прекратить кампанию, направленную против меня, рекомендовать меня на конкурсе для работы на следующий пятилетний срок и создать условия для моей нормальной педагогической и научной деятельности.

Таким оказался «хепи-энд» этого эпизода моей биографии.

Ю.М.: И что же, такие условия Вам действительно были созданы?

М.С.: Увы! Хотя никакие конкретные акции, направленные против меня, не предпринимались, общая атмосфера на факультете до начавшейся в стране демократизации и появления нового декана, — профессора Солонина, — была тягостной. Упоминавшиеся «черные полковники», которым не удалось захватить власть, лишь постепенно теряли свое влияние на жизнь факультета (кто-то кончал жизнь самоубийством, кого-то уносила из жизни болезнь, кто-то переходил на другой факультет или в другой вуз добровольно, кто-то вынужденно, в результате скандальных разоблачений неэтичного, деликатно выражаясь, поведения на своей кафедре), но напряженность долго еще висела в воздухе, и все мыслящие, творческие и просто порядочные люди чувствовали себя на факультете неудобно. Правда, на кафедре этики и эстетики, на которой я работал, атмосфера была дружественной и истинно творческой, и мы создали несколько коллективных работ, которые по сей день не утратили своей научной ценности.

Неудивительно, что когда мне исполнилось 60 лет (или 65, -- точно уже не помню), руководство университета и факультета, ссылаясь на решение партийных органов выводить на пенсию профессоров по достижению ими этого возраста, предложили мне больше не подавать на конкурс, рассчитывая избавиться от меня, наконец, вполне легитимным способом. Я готов был подчиниться этому решению, но вдруг узнал, что двум моим сверстникам с экономического факультета партком университета рекомендует продлить срок пребывания в профессорской должности. Правда, один из них был героем Советского Союза, но второй -- известным в университете «стукачом». Тогда я вновь обратился в обком за справедливостью, и поскольку никаких объективных оснований для моей дискриминации в данном случае не было, обком предложил университету моему руководству и меня рекомендовать для продолжения работы еще на пять лет.

Ю.М.: После продления срока Вашего пребывания на должности прошло уже более 20 лет, а Вы все продолжаете работать! Что изменилось сейчас?

М.С.: Я уже сказал, что когда началась демократизация страны, на факультете появился новый декан, который начал радикальную кадровую и кафедральную перестройку факультета. В результате обстановка на факультете изменилась радикально, она стала творческой и в личных взаимоотношениях людей дружественной; даже облик аудиторий, кабинетов, мебели, коридора, лестницы изменился до неузнаваемости. А об изменении отношения ко мне лично свидетельствует уже то, что я единственный профессор факультета, получивший звание Почетного профессора Санкт-Петербургского университета, что по представлению факультета я удостоен звания Заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Почетного работника высшего профессионального образования России, что в 2002 г. Санкт-Петербургское Философское общество присудило мне премию «За большой вклад в развитие философии в Санкт-Петербурге». И неудивительно, что за последнее десятилетие существенно выросла моя научная продуктивность: из общего числа около 700 моих публикаций с 1993 г. вышло в свет около 300, и сейчас находятся в печати две новые большие монографии «Три века истории Петербурга» и «Метаморфозы бытия и небытия». Конечно, это оказалось возможным только в условиях благоприятствующей этому атмосферы: и на факультете, и в университете, и в пошедшей по демократическому пути развития стране.

Ю.М.: Вы знаете, после Вашего рассказа у меня очень сильно изменилось представление о Вашей жизни. Мне раньше казалось, что Вы прожили жизнь чисто академического ученого, профессора, я даже представить не мог, что все обстояло так трагично. Однако то, что вам удалось выйти из всех испытаний достойно, для меня -- показатель Вашей жизнестойкости.

М.С. Я бы сказал -- показатель существования в XX веке такого архаического качества, как верность своим убеждениям.

О научной школе, учениках и методологии

Ю.М.: Итак, то, о чем мы говорили до сих пор -- это идеологический контекст, в котором Вы жили и развивались как философ и ученый. Но на этом фоне происходили и другие события, более позитивные и содержательные в научном плане. Вопрос

такой: считаете ли Вы себя создателем научной школы в России? Если да, то кто же Ваши последователи и ученики?

М.С.: Я не сказал бы, что существует моя научная школа, если иметь в виду следование моей методологии познания, хотя некоторые из моих учеников, ставшие и кандидатами, и докторами наук, в России и за рубежом, работают в этом -- системном и синергетическом -- ключе; но мое влияние на несколько поколений преподавателей и ученых, которые сами себя называют моими учениками, подчас и заочными, состоит, мне кажется, в двух аспектах многосторонней деятельности философа -- *гносеологическом и аксиологическом*: суть первого -- в признании философии *интеллектуальной, мыслительной, рациональной, светской и логически конструируемой деятельностью мышления*, в продолжении в наше смутное в духовном отношении время традиций классической философской мысли, от Платона и Аристотеля до Канта и Гегеля; суть второго -- в признании *нравственной ответственности философа за излагаемые им идеи и независимости теоретического поиска истины от всех иных ценностей, и политических, и религиозных, и эстетических*. Хотя были у меня ученики (немногие, но были), изменившие той, или другой, или даже обеим, заповедям (слаб человек, и жизненные искушения бываю непреодолимыми...).

Ю.М.: Следовательно, Вы науку и нравственность не разделяете, для Вас это вещи, сопряженные между собой?

М.С.: Да, конечно, сопряженные. Но о наличии научной школы можно говорить, я думаю, только тогда, когда твои ученики разделяют твою *методологию познания* -- в данном случае, принципы системного мышления и синергетического подхода к исследованию антропо-социо-культурных процессов, -- а для этого нужно не только желание, но особый склад ума. В советское время я не имел возможности сам выбирать себе аспирантов, одаренных интеллектуально и близких мне по складу интеллекта; аспирантов отбирали по анкетным данным и мое мнение могло выразиться лишь в отклонении претендента, если он был уж очень глуп и необразован. Поэтому немало студентов, близких мне по типу мышления и получивших под моим руководством определенную методологическую подготовку при написании курсовых работ и диплома, в аспирантуру я взять не мог. Очевидно, что это чрезвычайно сужало возможность создания научной школы. А в последние годы талантливые молодые люди, способные войти в такую школу, даже защитив диссертацию (таких случаев уже несколько), уходили из науки и педагогики в другие сферы деятельности, потому что на зарплату ученого и педагога, тем более начинающего, сейчас не проживешь.

Я часто привожу слова Станиславского, прилагая их к нашей сфере деятельности: *надо любить философию в себе, а не себя в философии*. Из моих учеников защитило диссертации (кандидатские и докторские) уже больше ста человек, и думаю, что в подавляющем их большинстве такое отношение к философии, к культуроведению, к эстетике, к искусствознанию мне все же удалось воспитать.

Ю.М.: Если нет элементов классической научной школы, то, по крайней мере присутствует четко выраженное и олицетворяемое научное направление, есть его последователи и есть тот нравственный стержень, который Вам удалось сохранить

и привить своим ученикам. Но тогда позвольте задать Вам следующий вопрос: *Моисей Самойлович, на протяжении более чем 50 лет Вы создавали работы, которые связаны единым концептуальным стержнем. Можно ли сказать, что Вы — родоначальник собственной теории, подхода, методологии в науке о культуре и человеке?*

М.С.: Лучше бы, конечно, отвечал на такой вопрос не я сам, а кто-то другой, но раз уж Вы задаете его мне, то придется, никак не желая преувеличить свои научные заслуги, сформулировать то, что мне удалось сделать, лучше или хуже, но все же сделать, в ряде случаев еще эскизно, в первом приближении. Во всяком случае, я предоставил возможность обсуждать выстроенные мной модели реальности, дабы определить меру их адекватности — я прекрасно понимаю, что новизна, как таковая, не означает истинности нового (в XX в. только в сфере искусства за новизной признается абсолютная ценность, в науке же, да и в философии, в той мере, в какой она претендует на познание бытия, новая информация подлежит проверке на истинность — если, разумеется, не разделять модную, и весьма удобную для многих, мысль, что истины вообще нет, или что у каждого своя истина...).

Если рассматривать сделанное мной в хронологической последовательности, то первым моим достижением было выявление *строения художественно-творческой деятельности человека* в результате применения системного подхода к выявлению ее сущности; расхожему представлению об искусстве как рядоположенном науке способе познания действительности я противопоставил теоретически обоснованное понимание его *четырёхмерного строения, синкретично объединяющего познавательный, ценностный, проективный и коммуникационный потенциалы*, что делает художественное творчество изоморфным целостно рассматриваемой деятельности людей; при этом было показано, что в истории искусства *соотношение удельного веса и силы каждого потенциала меняется в широком диапазоне* — оно различно в разных видах искусства, разных его родах и жанрах, разных исторических направлениях, методах творчества и стилях. Вслед за этим мне удалось раскрыть *закономерности строения мира искусства*, впервые в истории мировой эстетической мысли представив этот «мир» как *закономерно самоорганизовавшуюся систему не только видов, но и разновидностей, и отраслей, и родовых форм, и жанров во всех видах искусства*; в анализе их соотношения на всех уровнях строения художественной ткани было показано действие *закона спектрального ряда*.

Перейдя отсюда к анализу человеческой деятельности, я показал образующую ее связь *субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений*, представленных в ее конкретном бытии как *предметная деятельность и человеческое общение* (принципиально отличающееся от коммуникации), а в дальнейшем были выявлены *структуры общения и мира ценностей*. Суммировала все эти концепции обобщающая *философская теория культуры*, новизна которой состоит в том, что, в отличие от *всех односторонних трактовок культуры* — ценностной, символической, игровой, деятельностной, семиотической, информационной и т.д., и в отличие от *суммативных* ее трактовок, — мной предложена *системная трактовка*, которая представляет культуру как процесс перехода *предметной деятельности человека* в саму эту *предметность*, ее в совокупность *специфически-человечес-*

ких духовных качеств, обретаемых людьми в процессе распредмечивания созданной ими предметности и порождающих новые формы предметной деятельности; следовательно, реальное бытие культуры имеет не одну какую-то, а три модальности — *духовно-человеческую, процессуально-деятельностную и вещественно-предметную*, образующую, вместе с природой, среду человеческого существования; функционирование культуры реализуется во взаимопревращениях одной модальности в другую *благодаря общению людей: в синхронии* — в их совместной продуктивной деятельности, *в диахронии* — в общении поколений, какой бы интервал времени их ни разделял, через посредство культурной предметности, оставаемой каждым поколением для всех последующих.

Такое понимание культуры было проверено на двух уровнях: в исследовании одного из эпизодов мировой истории культуры — *истории культуры Петербурга*, и в самом крупном масштабе — в выявлении закономерностей рассмотренной впервые с синергетической точки зрения *истории мировой культуры*. Такой подход позволил преодолеть казавшееся непреодолимым противоречие между линейно-прогрессистской концепцией развития человечества Гегеля-Маркса и теорией локальных цивилизаций Шпенглера-Тойнби.

Я надеюсь, что с выходом в свет моей последней работы — «*Метаморфозы бытия и небытия*», и в сфере онтологии войдут в обиход некоторые свежие идеи, ибо эта основополагающая философская дисциплина уже почти сто лет топчется на одном месте, варьируя старые-престарые идеи — и на теологической основе, и на феноменологической, и на позитивистской, вплоть до того, что многим она кажется вообще устаревшей, архаичной, не соответствующей духовным вызовам современности формой философской рефлексии. Системно-синергетический подход позволяет, как я пытался показать, опровергнуть это представление.

Поскольку же применение теории систем и синергетики к анализу «сверх-природной» — антропо-социо-культурной — сферы бытия требовало, как я уже отмечал, *развития таящихся в них методологических программ*, мне пришлось решать эту задачу, получив в результате некоторые нетривиальные выводы, эвристический потенциал которых я сам проверял в исследовании конкретных реалий.

К моему великому сожалению, не удалось организовать в Петербурге серьезного и широкого обсуждения и самих этих методологических позиций, и их применения в моих работах. Сейчас я возлагаю большие надежды на московских коллег, поскольку у меня есть договоренность с ректором Академии госслужбы профессором Егоровым об организации на их территории обсуждения «Введения в историю мировой культуры» с привлечением видных московских, а если будет возможность, и петербургских, и екатеринбургских, и самарских, и ростовских, а хорошо бы и киевских, и минских, философов, историков и культурологов, потому что развитие познания в этой сложнейшей области требует усилий не одного человека, а широкого научно-философского сообщества.

Ю.М.: *Моисей Самойлович! Системно-синергетический подход — это методология, которую Вы используете применительно к изучению истории культуры, но нельзя ведь сказать, что Вы создали теорию культуры, поскольку она существ-*

вовала и до Вас. То же самое, наверное, относится и к теории искусства и к теории ценностей.

М.С.: Конечно, я создал не теоретическое знание о данных сферах бытия, а его новую содержательную трактовку, и обязан этому применением новой методологии. Так же и в сфере онтологии, которая существует в Европе со времен Парменида, если не еще более древних мифологических представлений, а на Востоке — со времен Канады и мифологических праобразов его рассуждений, однако системно-синергетический подход позволяет по-новому решить коренные проблемы бытия и его соотношений с небытием, за которыми скрывается, в конечном счете, и генетически, и логически, и даже этимологически, *отношения жизни и смерти*. Мучительное Гамлетово «Быть или не быть...» не только остается актуальной и в наше время экзистенциальной проблемой, но и расширило свой драматический смысл до родового масштаба — «быть или не быть» *человечеству*... В советское время отечественная философия не знала проблем *небытия* и *ничто*, а само бытие сводила к материальной субстанции природы, в последнее же время стали появляться статьи и книги, трактующие онтологию как «философию небытия», или «нигитологию», или «потенциологию», и отодвинувшие в тень бытие. Такова уж особенность нашей национальной психологии — бросаться из одной крайности в другую... Видимо, задача философского умозрения состоит сейчас в том, чтобы *выявить разные аспекты диалектических взаимопревращений бытия и небытия и разные закономерности этих метаморфоз в разных сферах сущего — в природе, в культуре, в обществе и в человеке*.

О ситуации в философском и научном сообществе

Ю.М.: Моисей Самойлович! Давайте перейдем к анализу ситуации, сложившейся в российской социальной философии и науке. Говорят, что сейчас кризис не только мирового, но и отечественного обществознания. У нас нет своих крупных социальных теоретиков. Каково Ваше отношение к этому? Что это: временное явление или устойчивая тенденция? Есть ли признаки возрождения здесь теоретической мысли?

М.С.: Я с большим вниманием слежу за тем, что происходит в нашей философии, в частности, социальной, и стараюсь не пропускать ни одной интересной публикации. У нас есть немало интересных мыслителей, но одно имя мне представляется наиболее значительным — это покойный академик Моисеев. Он не был профессиональным философом, но философски мыслил, и, в отличие от большинства наших коллег, не был связан с теми традициями «истмата», которые связывали социально-гуманитарное знание с устаревшими представлениями Энгельса и Ленина, а не с современной парадигмой познавательной деятельности. Моисеев же оценил значение и теории систем, и синергетики для осмысления социального бытия человечества, его культуры, отношений культуры и природы, и отчетливо сознавал, что нынешний этап существования человечества требует от философии не вышивать постмодернистские узоры, а помочь ему найти выход из кризисного состояния, в котором оно оказалось и которое угрожает самому его существованию. Что касается Запада,

то я не знаю там мыслителей, равных по масштабу классикам философской мысли. Чем это объясняется? Тем, что индивидуалистический характер сознания человека в буржуазном обществе подрывает сами основы философского мышления, место которого в культуре определяется его способностью быть *теоретически осознаваемым миро-воззрением* — то есть воззрением человека на мир, а на самого себя как на «*частицу мира*»; отсюда теоретическая, рационально-логическая форма философского умозрения, отделившаяся в античной древности от образно-эмоционального способа восприятия реальности, с которым она была слита в синкретизме мифологического сознания, и связавшая себя с научным способом познания бытия, тогда как художественно-образный способ освоения действительности обрел самостоятельное, демифологизированное существование, поскольку реализовал потребность культуры в *самосознании*. Вполне естественно, что произошедшее в эпоху Модернизма в XX в. смещение ориентации общественного сознания с *познания объективно существующего мира на самовыражение одинокой, потерявшей веру в силу собственного разума, тоскующей и страдающей личности*, воспринимающей мир как царство хаоса, непознаваемое в его абсурдности, приводит к тому, что философия либо пытается сменить врожденную ей теоретическую форму абстрактного мышления на «превращенную» для нее метафорическую форму художественного освоения мира и объявляет себя «*самосознанием культуры*», либо ищет спасения в возвращении к своей былой — извращенной — теологической форме, либо, наконец, приходит к самоотрицанию в позитивистском культе конкретного, эмпирического, физикалистского познания природы, отрекаясь от вызывающих сциентистское презрение «*метафизики*», «*диалектики*», «*онтологии*».

Поэтому, возрождение философии как философии, во врожденных ей качествах теоретически выраженного миро-воззрения, зависит от преодоления общественным сознанием его нынешнего «*Я-центризма*» и восстановлением того понимания отношений личностного «*Я*» и общечеловеческого «*Мы*», человека и мира, субъекта и объекта, которое, при несомненном возрастании в ходе истории роли субъекта и его личностной модификации, не только сохраняет, но в наше время придает небывалое в прошлом значение *единству человечества как совокупного субъекта* и делает жизненно необходимым для его самосохранения в бытии формирование *экологического сознания* как нового типа отношений этого совокупного субъекта-человечества и объекта-космоса, отношений культуры и природы, как вне человека, так и в нем самом, отношений духа и материи, а значит, в конечном счете, отношений философии, науки и искусства.

Становление системно-синергетического мышления дает основания полагать, что философия преодолет переживаемый ею кризис и, сохраняя достижения теоретической мысли XX века, станет ориентиром жизнедеятельности человечества в XXI столетии.

Ю.М.: Если я Вас правильно понял, вы считаете, что пока существует философия, она должна быть рациональной по своей природе.

М.С. Вы правильно меня поняли. Но это не означает, будто я считаю непроверенными те или иные формы синтеза теоретического и метафорического спо-

совов мышления и его выражения, я считаю лишь, что и философия, и искусство должны быть, прежде всего, *самими собой*, т.е. выполнять свои специфические функции в культуре, ибо тут и она, и оно *незаменимы* и необходимы культуре сейчас не в меньшей степени, чем в древней Греции или в эпоху Просвещения, а, быть может, в еще большей — ныне беспрецедентно велика ставка.

Ю.М.: Скажите, пожалуйста, видите ли Вы хоть какие-то ростки новой философии в России? И в творчестве каких философов Вы их видите?

М.С.: Я думаю, что такие ростки существуют, но не стал бы переводить проблему в личностный план, ибо тут неизбежен определенный субъективизм оценок. И дело, на мой взгляд, вообще не в личностях, а в общей историко-культурной ситуации, которую мы переживаем; я определил бы ее как *духовную сумятицу*, а на языке синергетики — как *доминирование хаоса*. Освобождение от диктата советского квазимарксизма, вдруг обретенное право каждого человека на выражение собственных взглядов, если только есть деньги для их публикации или способность добыть необходимый для этого грант, массированное издание переводов сочинений западных философов и соблазн пересказывания их идей, выдавая их за собственные, попытки найти нечто стабильное и специфически национальное в русской философии, влекущее за собой поиски синтеза философии и религии, если не простую апологетику позиции Соловьева-Бердяева-Флоренского — все это на протяжении последнего десятилетия порождает этот хаос. Особенно огорчительным является для меня отход некоторых рационалистически мыслящих сильных умов от показавшихся им устаревшими интеллектуальных позиций и их более или менее последовательный переход на позиции православия или какой-то иной конфессии. В этих условиях приходится ценить труды, в которых философское умозрение сопротивляется и постмодернистской деформации, и иррационалистической спиритуализации, и тем более те сочинения, в которых выражается стремление согласовать методы философствования с теми завоеваниями научной мысли, которые выражают новую, системно-синергетическую парадигму познавательной деятельности. А такие работы все чаще появляются и в Москве, и в Петербурге, и в ряде других российских городов.

Ю.М.: Ваше отношение к тому, что сегодня идет фактический захват и коммерциализация Академии наук дельцами, весьма далекими от настоящей науки, которые становятся членами Академии, не имея за собой реальных научных заслуг и достижений?

М.С.: Что происходит в Академии сейчас — не знаю, ведь в нашем провинциальном и духовно бедном Петербурге нет ни одного академика и даже члена-корреспондента Академии по разряду общественных наук...; знаю только, что в свое время академиками были не дельцы, а глупцы, становившиеся именно благодаря этому руководителями философского фронта и стражами идеологической чистоты советского мировоззрения (их имена и вспоминать не хочется, но помнится такая шутка: «Что такое съезд Философского общества? Это встреча ученых с академиками»).

Ю.М.: Я не буду сейчас обсуждать с Вами ситуацию в российском философском сообществе. К сожалению, ее нынешнее руководство весьма болезненно отно-

сится к вопросам демократизации философского сообщества, предпочитая свое монопольное положение многообразию форм его самоорганизации. Но нам с Вами предстоит создавать новую ассоциацию. Скажите, пожалуйста, на каких основаниях должна строиться ассоциация междисциплинарных исследований, во главу угла которой положена идея интеграции социально-гуманитарного знания?

М.С.: Я всецело приветствовал бы создание такой Ассоциации, ибо междисциплинарные исследования приобретают в наше время парадигмальное значение во всех областях знания и нуждаются в методологическом обосновании и организационном обеспечении. Не знаю, известно ли Вам, что 12 лет тому назад в Петербурге была создана Академия гуманитарных наук, которая ставила перед собой именно такие цели; мы начали выпускать журнал «Гуманитарий», первый номер которого вышел с эпиграфом «время разбрасывать камни, и время собирать камни», и основные статьи, опубликованные в нем, были посвящены именно «собираанию камней». К сожалению, в связи с возникшими трудностями с финансированием, и Академия, и журнал прекратили свое существование. Поэтому было бы прекрасно, если бы новая Ассоциация продолжила начатое нами дело.

Ю.М.: Но разве дело только в финансировании ассоциации, а не в самой организации ее деятельности?

М.С.: Увы, в наше время без финансового обеспечения невозможна и эффективная организационная деятельность — ведь для того, чтобы приезжали на конференции философы из других городов, необходимо оплачивать им транспортные расходы и расходы на проживание; нужны деньги и на издание журнала. Вместе с тем, я считал бы целесообразным сделать данную Ассоциацию Евразийской, дабы объединить творческие силы разбеденных сейчас философов и представителей других областей знания, работающих в бывших советских республиках.

Ю.М.: Наша новая ассоциация возникает не на пустом месте. Когда я работал в Институте социально-политических исследований РАН, группа людей предложила создать на базе института Евразийскую социологическую ассоциацию (ЕАСА). Была идея объединить ученых-социологов на постсоветском пространстве. К нам потянулись многие люди из бывших республик. Сейчас мы хотим сохранить тот персональный состав, который сформировался в рамках ЕАСА, ввести представителей социологической науки стран СНГ в Президиум новой ассоциации. Вы поддерживаете эту идею?

М.С.: Это очень актуальная идея. Мое общение с учеными Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Грузии убеждает в необходимости их связей с русской культурой и друг с другом, ибо они задыхаются в своих замкнутых национальных пространствах (хотя не всегда это осознают).

Ю.М.: Но с другой стороны, мы не хотим, чтобы ассоциация была абсолютно прозрачной и открытой, поскольку важно блокировать возможность проникновения в ее ряды людей, далеких от науки, преследующих какие-то ненаучные интересы. Главным критерием вступления в ассоциацию должен быть критерий профессионализма, преданности высоким идеалам науки и личной порядочности.

М.С.: А поскольку Ассоциация не имеет национального статуса, мы можем привлекать в нее не только ученых из стран СНГ, но и из стран «дальнего» зару-

бежья, и придать ассоциации, таким образом, международный характер. Вместе с тем, мне кажется, что не следует ограничивать ее интеграцией социально-гуманитарного знания, ибо необходимо развитие контактов этой научной сферы с естественными, математическими и техническими дисциплинами, и разработка методологии междисциплинарных исследований на всем научном и философском пространстве.

Ю.М.: Совершенно с Вами согласен!

Моисей Самойлович! Позвольте Вас сердечно поблагодарить за интересный и содержательный рассказ о себе и своей жизни, а также пожелать Вам крепкого здоровья, новых идей и книг.

М.С.: А я благодарю Вас за предложение выступить на страницах Вашего журнала и пожелать успехов в создании Ассоциации.

✦ Научная жизнь

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРЫ (МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА)

1 февраля 2003 года в г. Ростове-на-Дону на факультете философии и культурологии РГУ состоялось совместное заседание общественного совета при журнале «Личность. Культура. Общество» и Донского философского общества. Проводился круглый стол по теме «Методологические проблемы познания человека, общества, культуры».

В работе круглого стола приняли участие:

- 1. О.М. Штомпель, доктор философских наук, зав. кафедрой исторической культурологии факультета философии и культурологии РГУ.*
- 2. Т.Г. Лешкевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии и методологии науки, председатель Донского философского общества.*
- 3. В.Н. Коновалов, доктор философских наук, профессор кафедры политической теории факультета социологии и политологии РГУ.*
- 4. В.А. Шкуратов, доктор философских наук, профессор кафедры психологии личности и общей психологии психологического факультета РГУ.*
- 5. Е.В. Золотухина, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой истории философии и философской антропологии факультета философии и культурологии РГУ, О.С. Васильева, кандидат биологических наук, зав. кафедрой психологии здоровья психологического факультета РГУ, Е.П. Агапов, доктор философских наук, профессор кафедры социальных технологий факультета социологии и политологии РГУ, Л.А. Мирская, доктор философских наук, профессор, проректор по науке Южно-Российского гуманитарного института.*

В ходе работы «Круглого стола» обсуждались актуальные вопросы социально-гуманитарной методологии, связанные с ее спецификой; проблемы новых подходов в методологии, методологические аспекты конкретных социальных дисциплин.

Мы предоставляем вниманию читателя основные доклады, прозвучавшие на «Круглом столе», хотя жаль, что при подготовке материала не удалось сохранить тот дух активной дискуссии, который был характерен для обсуждения.

¹ Небольшая справка. 21 октября на учредительном собрании Междисциплинарной ассоциации «Человек. Культура. Общество» Моисей Самойлович Каган был единогласно избран Сопрезидентом Ассоциации. В его докладе многие высказанные в интервью идеи получили дальнейшее развитие и нашли активную поддержку со стороны регионов Белоруссии и России.